

Леонид Бешин

ДВА РАССКАЗА

КОЛОКОЛЬЧИКИ ПАПАГЕНО

1

В конце девяностых, а именно в столь скорбный для меня день 14 ноября 1997 года умер мой научный руководитель добрейший Патрокл Филиппович Белянкин. Добрейший, чудаковатый и совершенно беспомощный, точнее даже сказать — бесполезный, способный разве что смешить молоденьких и хорошеньких аптекарш (на лекарства он тратил ползарплаты) сочиненными в их честь стихами:

*Я без ума от ваших глаз —
Меня спасет лишь тромбо асс.*

*Чтобы я от счастья воспарил,
Мне нужны лишь вы и моноприл.*

*О вас мечтать под сенью лип
Мне помогает фелодип.*

Ну, и так далее. Подобные стихи он мог сочинять десятками — в зависимости от числа прописанных ему лекарств и декламировать их с актерским пылом, то воздевая руки к небесам, то прижимая их к груди. При этом он любил повторять, что если бы снова женился (жена от него ушла много лет назад), то непременно на аптекарше.

Мною же как своим аспирантом Патрокл Филиппович совсем не занимался и, собственно, не руководил. Седенький, грузный, склонный к одышке, с бисером пота в глубоких бороздках лба (называл это парниковым эффектом), набрякшими йодистого цвета

веками и пористым фиолетовым носом, он не давал мне никаких советов. А получив очередной отпечатанный машинисткой (тогда еще были машинистки, перепечатывавшие под копирку рукописи) кусок моей диссертации, признавался: «Занятно написано, мой друг. Ты меня кое в чем даже просветил, ей-богу. Благодарствую. А то ведь ничего дельного сейчас и не прочтешь. Все одни вонючие портянки под нос суют и на веревках вывешивают».

Получалось, что моя диссертация, над которой я корпел уже который год, была для него чем-то вроде замены портянкам, вроде развлечения, занимательного чтения, средства от скуки. За этим угадывались веселенькое безразличие ко всему, насмешливый скепсис диванного фронтлера и крамольное убеждение, что защищаться сейчас вообще бессмысленно, поскольку в университете развал и полная неразбериха, кафедры закрываются, наука гибнет и скоро все провалится в тартарары. Это словечко — тартарары — он особенно любил, так же как и другое, заимствованное у Чехова: «Такая, братец, тарарабумбия».

Патрокл Филиппович ждал, что и его со дня на день турнут, вышибут пинком под зад, не считавшись с былыми заслугами (своей главной заслугой он считал то, что никогда не доносил). Поэтому он мне внушал: «Дружочек, вы бы сменили руководителя, а то мне, трухлявому старому грибу, долго не продержаться. Отбросьте вы это чистоплюйство. Ради всего святого смените!»

Разумеется, для меня это был повод изобразить благородное негодование, заявить решительный протест, поклясться в верности и проч., проч. Хотя я понимал, что Патрокл Филиппович во многом прав. Он, правда, любил себе подсластить тем, что без конца твердил: вот, мол, кое-что сделал в науке. Со старческим задором бахвалился: «Одних книжек навалял с добрый десяток. Такая вот тарарабумбия».

Но заслуг его уже не признавали. Ни в какие комиссии, ни в какие советы не звали, не давали погреться рядом с властью. В издательский план не включали — изобретали всевозможные уловки, лишь бы отказать. А то и без всяких уловок говорили в лицо: «За свой счет извольте. Пятьсот экземпляров — не больше. Желательно к юбилейной дате». А какой у него счет, если на сберкнижке все сгорело...

Да и, по общему мнению, его книги безнадежно устарели (пропахли нафталином так, что моль от них дохнет). Хотя всеми еди-

нодушно подчеркивалось, что сам он, безусловно, человек честный и порядочный, ничем себя не запятнавший, но разве это заслуга. Этак у нас всем, кто не крадет, ордена бы вешали...

Самое досадное, что в книгах своих он не поспевал за временем, выглядел смешным и удручающе старомодным, как его заношенный пиджак с длинным рядом пуговиц. Иными словами, никого не разоблачал, не обличал, брезгал и гнушался тем, чтобы копаться в грязном белье (а ради истины можно было и не погнушаться). Впрочем, это еще терпимо, но кто стерпит его выпады против своих же преуспевающих коллег. К примеру, одного из них он припечатал словами: «Уролог, не моющий рук». О другом же, бросившемся переписывать свои первые книги, выразился похлеще: «Он замазывает свою благоухающую юность заматерелым дерьмом». Каково!

Но и с этим в конце концов можно смириться. А вот терпеть такие безобразия, как огульные восхваления и благоговейные восторги, расточаемые в адрес Тургенева, Чехова, Маяковского, простите, совершенно невозможно. Семьдесят с лишним лет терпели — хватит! Настала пора трезво разобраться с так называемой великой русской литературой — а была ли она? Может быть, ее, как того мальчика, вовсе и не было?

2

Патрокл Филиппович же упрямо противился этим трезвым и объективным разборкам, называемым им не иначе, как вивисекциями. Конечно, это не вменялось ему прямо в вину (у нас, слава богу, свобода мнений), но, понятное дело, раздражало. Скрывать отношение ко всем этим безобразиям тоже никто не собирался, и молодежь учинила кампанию с требованием уволить Белянкина.

Собрания устраивали — митинговали. Гладко причесанные, в строгих очках аспирантки (не из красивых, но из решительных) подписи собирали под воззваниями. Неподписантов провожали шипением и жалящими насмешками. И в конце концов Патрокла Филипповича вызвал к себе декан Геннадий Викторович — факультетский папа, как его называли.

— Дорогой мой, присядьте. — Он указал на свое знаменитое кресло, которое помимо бахромы украшали колокольчики, позва-

нивавшие, если кресло передвигали или в него садились (факультетские остряки в память о колокольцах моцартовского Папагено прозвали их колокольчиками папы Гены). — Вы, конечно, слышали, как у нас тут все кипит. Митинги, призывы, лозунги, резолюции. М-да... — Патрокл Филиппович обеспокоенно заворочался в кресле и немного привстал (бубенцы зазвенели), декан же Геннадий Викторович веско положил ладони ему на плечи и заставил снова сесть. — Но я не об этом — вы ради бога не подумайте. Пускай себе митингуют. Я о другом. Одна наша студентка случайно услышала, как вы в аптеке декламируете стихи. Вот я даже записал: «Когда я приглашу вас в бар, мы там закажем коринфар». Адресовано аптекарше Зине. Что это такое, хотел бы я знать?

Патрокл Филиппович засмутился.

— О, это не совсем удалось. Нужна еще работа, шлифовка, отделка.

— Ага! Как всякий истинный поэт вы взыскательны к собственному творчеству. Похвально, похвально.

— Стараюсь по мере сил... Но годы уж не те.

— Так-так. А я вот пью валидол. Может, вы и для меня сочините? Нашу аптекаршу зовут Лола. Вот вам и хорошая рифма: Лола — валидола.

Патрокл Филиппович задумался, теребя бахрому кресла и слегка позванивая бубенчиками.

— Ну, может быть, так. «Я жажду поцелуев, Лола, как сердце жаждет валидола».

— Замечательно! Вы и впрямь поэт! — Декан сблизил ладони, но перед тем, как заплодировать, участливо спросил: — Не мешают ли вам служебные обязанности заниматься творчеством?

Патрокл Филиппович с готовностью ответил:

— Не мешают, поскольку вы освободили меня от основных курсов и теперь я лишь веду семинары и руковожу аспирантами.

— Руководите? Как-то ваше руководство, однако... не совсем... м-да... Но хорошо, хорошо, — сказал он, потирая ладони, так и не издавшие звук аплодисментов. — А вот другую аптекаршу, сменщицу Лолы, зовут Нина. Нельзя ли воспеть и ее?

— Отчего же! Можно. — Патрокл Филиппович снова зазвенел бубенцом. — «Без вас, прелестнейшая Нина, не жить мне, как без аспирина».

— А не лучше ли — без кокаина? — подсказал декан.

Патрокл Филиппович приглушил бубенцы.

— Не уверен... все же наркотик, знаете ли...

— Да что вы! В поэзии все можно. Тот же Бодлер...

При всем уважении к декану (и Бодлеру) Патрокл Филиппович счел нужным заметить:

— Нет-нет, должны быть известные ограничения.

— Так вы за цензуру выступаете? — наивно обрадовался декан.

— Смотря что понимать под цензурой...

— Нет уж, вы сознайтесь. За цензуру? Против принятого у нас Закона о печати?

В бороздках лба у Патрокла Филипповича бисером сверкнула испарина.

— Уф! — Он вытер лоб обратной стороной ладони. — Ну, и странный у нас разговор.

— Это шутка, уважаемый профессор. Всего лишь шутка. Но все же вы подумайте... определите свое отношение к цензуре. Все-таки вы за или против? И уж как-нибудь нам доложите. — Декан долгим, изучающим взглядом пересчитывал пуговицы на пиджаке Патрокла Филипповича. — Однако не смею задерживать. И желаю здравствовать, — напутствовал декан, особо не рассчитывая, что Патрокл Филиппович его услышит, поскольку тот уже исчез за дверью.

3

Этот разговор состоялся 13 ноября, а на следующий день Патрокл Филиппович почувствовал себя неважно. Плохо себя почувствовал. Стало ему совсем худо. Он прилег на диван, постонал, помычал сквозь зубы, и его сердце... возжаждало валидола и других лекарств, которые ему, однако, не помогли — так же, как и вызванная неотложка. И он скончался на руках у врачей и домработницы Маняши, пугливой и слезливой (только испуганно крестилась и глаза платком вытирала).

Похоронили Белянкина на Ваганькове — в той же могиле, где лежали его старики, тоже университетские профессора, но не русисты, как сам Патрокл Филиппович, а античники, знатоки Гомера и Гесиода.

Провожавших его на кладбище было немного и стояли они группками: сын и дочь, прилетевшие из Барнаула, двое-трое друзей по университету, с десятком особо преданных студентов и молоденькие аптекарши, воспетые им в стихах. Они меня (да и всех) особенно растрогали, и я подумал: «Какие милые, не пожалели времени, пришли, гвоздики на гроб положили. И ведь будут помнить, когда, пожалуй, и все забудут».

Мои мысли были прерваны тем, что я услышал голос одного из провожавших — профессора с поднятым воротником плаща, мышинового цвета шарфом вокруг шеи, большими ушами, из которых свалывшейся паклей торчали волосы, и седым бобриком волос. Он наклонился ко мне поближе и взял меня под руку.

— Нас с вами на Ваганькове не положат. Нас где-нибудь за окружной дорогой, на холмике, в лесочке рядом со свалкой, — сказал он и представился, снимая перчатку, пахнущую хорошим мужским одеколоном, и протягивая мне большую бутристую руку: — Барахта Вадим Борисович.

Я тоже назвал себя, добавив при этом:

— Да мы, собственно, знакомы...

— Да, да, это уж я так, для проформы... Вы ведь у Белянкина диссертацию писали?

— Писал...

— Сочувствую вашей утрате. Светлая была личность. На таких земля держится. За университет готов был душу положить. И писал смело, честно, прямо...

— Вы считаете? — спросил я, давая понять своим вопросом, что на этот счет есть и другие мнения и мне о них известно.

— Ах, вы об этом! — Он поморщился, показывая, что охотно пренебрег бы мнениями, о которых тоже был наслышан. — Мало ли что болтают... Одни из зависти, другие по глупости. Я же всегда ценил...

Я счел за лучшее его перебить, чем испытывать на искренность сказанное им:

— Патрокл Филиппович тоже ценил ваши книги...

— Вот как! Жаль, что мы так мало успели побеседовать... А знаете что? Если у вас будут затруднения с поиском нового руководителя, я готов... Тема вашей диссертации мне близка. И не скрою, что вы мне тоже всегда были симпатичны.

Я поблагодарил, стараясь, чтобы моя благодарность не означала немедленного согласия.

— Если позволите, я подумую

— Думайте. И если надумаете, звоните. — Он вырвал из записной книжки лиловый листок, пахнувший тем же одеколоном, что и перчатки, и размашисто написал свой номер. — Трубку обычно берет внучка, но я ее о вас предупрежу. Может быть, вы вместе мне и поможете. А уж я постараюсь вам пригодиться, — сказал он с особой проникновенной внушительностью, словно на этот раз имел в виду не внучку, а меня одного.

4

Лиловый листочек я сложил вчетверо и спрятал в карман, но сразу звонить не стал. Выждал неделю — не только из вежливости, желания показаться воспитанным и деликатным. Я не сразу решил, кому быть моим новым руководителем, и все-таки решил: Барахте — тем более что он сам мне это предложил. И нечего здесь капризничать: вот, мол, что-то в нем не так. Мне, мол, неприятны его торчащие из ушей волосы, похожие на свалывшуюся паклю, и мышиного цвета шарф. Я не Анна Каренина, в конце концов.

Другие кандидатуры? Да, были. Ну, перебрал я некоторых: нет, не то, не годятся, не подходят. Хотя надо признать, что все не без достоинств, профессора, доктора наук, да еще и с регалиями, но Барахте не соперники.

Вадим Борисович повсюду вхож, принят в самых высоких сферах. И у него есть такое важное преимущество, как его последние книги, имевшие шумный успех и во многом ставшие знамением времени. О них говорили, писали, их обсуждали и на кафедрах, и в студенческой курилке. И на каменном университетском крыльце между старинными фонарями. И на лавочках в университетском дворе — обсуждали, спорили, горячились. И одна из них попала в *короткий список* — так что ожидалась премия.

Что же было в них нового, смелого и дерзкого, в этих книгах, посвященных тому страшному времени, концу тридцатых годов, а именно тридцать седьмому и тридцать восьмому? Вадим Борисович если и не совсем отказался от авторского текста, то ужал его

до предела, до скупых ремарок, но зато на страницах своих книг щедро предоставил возможность говорить другим.

Его книги — запись застольных разговоров, рассказанных в тесном дружеском кругу анекдотов, доверительных бесед за плотно закрытыми дверями и даже кухонных пересудов. Словом, не громогласных речей, произносимых с трибуны, а мышиноного писка, приглушенного шепотка той эпохи. Когда Барахту спрашивали, что заставляло его этот шепоток записывать (а записи прятать, чтобы при возможном аресте они не попали на Лубянку), он отвечал шутливо, но с особым, требующим разгадки значением: «Колокольчики Папагено». Отвечал и пристально вглядывался в лица, стараясь угадать, насколько его поняли.

Иными словами, записывал он просто для себя, на всякий случай, по сложившейся привычке. Хотя инстинкт ученого — звучащий в душе колокольчик, — ему подсказывал, что когда-нибудь его записи, глядишь, и понадобятся, что они окажутся нужны всем, — нужны как исторические свидетельства, документы эпохи, бесценный материал.

Так оно и случилось, и я был тому свидетелем...

Я догадывался, на какую мою помощь рассчитывал Барахта, обронивший на кладбище фразу: «Может быть, вы вместе...» Его серия книг была не завершена: он собирался выпустить еще две-три книги. Как я слышал, ему помогала внучка Злата, но она была зоолог, а не филолог, и не во всех случаях могла быть ему полезной. Поэтому Вадим Борисович брался руководить моей диссертацией не без некоторого расчета: я должен был подстраховать его внучку, если ее знаний и опыта окажется недостаточно для обработки собранного материала и подготовки новых книг.

Что я мог возразить? Мне было интересно, тем более что я тоже занимался тридцатыми годами. При этом что скрывать — хотелось поскорее остепениться, стать кандидатом наук, и мелодичный звон моих колокольчиков обещал мне успешную защиту. Все-таки Патрокл Филиппович — при всей своей доброте — был не совсем прав. Все имеет свой смысл.

И все оказывается нужным.

Через неделю я позвонил Баракхе и отпрапортовал о своем согласии.

— Ну, вот и славно. Вместе поработаем, — сказал он, намеренно не уточняя, над чем придется больше работать — над моей диссертацией или подготовкой его книг. — В деканате я все оформлю.

— А как вы полагаете, Геннадий Викторович?..

— Наш папа Гена возражать не станет, — заверил меня Баракха, и с тех пор я стал часто у него бывать сначала на правах ученика, которому он покровительствовал, а затем и друга дома.

Жил он не в университетском корпусе на Ломоносовском, а в одном из писательских домов, разбросанных по всей Москве. Квартира в Лаврушинском ему перестала нравиться (туда редко заглядывало солнце), и он обменял Лаврушинский на Астраханский.

Баракхе удалось вступить в союз писателей еще полвека назад, и он водил знакомства со многими тогдашними знаменитостями. Их тома стояли рядом у него на полках с задернутой темно-вишневого цвета шторкой. Надо было потянуть за витой шнурок, чтобы отдернуть шторку, отодвинуть стекло и достать тот или иной том с дарственной надписью автора: Леонова, Федина, Фадеева, Гладкова, Алексея Толстого и даже самого Шолохова, чем Вадим Борисович, однако, не очень гордился. Куксился, привередничал, демонстративно пренебрегал. «Лучше бы я дружил с Булгаковым, Платоновым и Мандельштамом. Но вот, дурья башка, просчитался, не угадал», — любил повторять он шутливым тоном, придавая ему некую бутафорскую серьезность или, наоборот, излишнюю — нарочитую — серьезность обращая в напудренную шутку.

Как друг дома я познакомился с его внучкой Златой. Она вышла мне навстречу из сумрака огромной квартиры, почти неотличимая от него, поскольку и сама была одета во все темное, и протянула длинную гибкую руку с мерцавшими на пальцах кольцами. «Достались от бабушки», — сказала она, держа руку так, чтобы я мог задержать на кольцах взгляд, и сразу опустила ее, не позволяя ни пожать, ни тем более поцеловать. Затем, сделав еще один шаг, она попала в полоску света, падавшего из окна, и словно преобразилась. Стали заметны (выступили из темноты) каш-

тановые косы, прихотливо сплетенные из тонких хвостиков, глубоко запавшие серые глаза, вышитая безрукавка, серьги в ушах, напоминавшие колокольцы. Почему-то мне тоже подумалось о них: «Наверное, бабушкины», — в чем я не ошибся.

«Удивительно похожа на Сильвию. К тому же у нее болезненный культ собственной бабки, моей благоверной, — сказал мне Барахта, когда мы остались вдвоем в его кабинете. — Бабка-то, бедняжка, не дожила. Скажу вам по секрету: в лагерь попала. По неосмотрительности, легкомыслию, беспечности. Доказывала всем и себе, что она свободна в своих высказываниях. Куда я только ни писал, в какие кабинеты ни стучался — бесполезно. Ни Леонов, ни Федин, ни Фадеев не помогли. Там, на нарах, и скончалась».

Вадим Борисович с энергией взялся за мою диссертацию. Он все перекроил, многое вычеркнул, убрал из библиографии десятка полтора книг (в том числе и книги Патрокла Филипповича, с чем я поначалу не соглашался, а затем смирился и махнул рукой), попросил переписать введение: «Добавьте сарказма, злости. Сейчас это любят».

Когда все было готово, Барахта сам договорился с ученым советом о моей защите. С кем-то встретился, кому-то позвонил, кому-то послал пышную, как пальмовые листья, телеграмму и после этого сказал мне: «Вашу защиту назначили на конец декабря. Собственно, уже можно банкет заказывать. Заодно и Новый год справим».

Я не был избалован удачами. Мне все давалось с трудом и натугой, и я не привык, чтобы в моей жизни все так быстро, удачно устраивалось. Поэтому я не просто был счастлив, а всякий раз чувствовал прилив умиления и сентиментальной восторженности при мысли о том, как Барахта обо мне заботится, радеет и хлопочет.

Мне страстно хотелось отблагодарить его, и меня томило нетерпение: когда же он попросит помочь ему с книгой! Я всячески намекал ему, что теперь свободен, вынужден предаваться безделью (автореферат разослал, вступительную речь отдал машинистке), и мне не обязательно ждать защиту, чтобы взяться за подготовку книги.

Но Вадим Борисович все как-то откладывал свое поручение, тянул, медлил, и так прошло больше недели. Безветрие. Полнейший штиль. Наконец он позвал меня в кабинет. Позвал (помавил) не словами, а жестами, изображая пальцами одной руки шагающего человечка, а палец другой руки прикладывая к губам (в знак того, чтобы человек шагал как можно тише).

И меж нами состоялся разговор.

— Дружочек, я не стал бы вас обременять, но в издательстве торопят, и я вынужден воспользоваться вашим участием. Я к вам достаточно присмотрелся, вас изучил. Вполне вам доверяю. Не считите это за отработку на барском поле. Ей-богу, таковы обстоятельства. Тысячу раз извините.

Я, разумеется, ответил:

— Ну, что вы, Вадим Борисович! Я вам с радостью помогу, если это в моих силах.

— Помогу-помогу. На ходу и на бегу. Вот видите, я даже стал стихи сочинять, как ваш прежний руководитель.

Я из вежливости польстил:

— У вас получается не хуже.

— Благодарю, мой милый. — Он пододвинул мне стул, а сам присел на кожаный валик кресла, сложив ладони домиком перед носом. — Раньше мне помогала внучка, но что-то с ней случилось. Она у меня замкнутая, скрытная, ничего мне не говорит, но я-то чувствую. Ее словно подменили. Вторую неделю неразобранная кипа моих записей лежит у нее на столе. Меня это, признаться, беспокоит, даже тревожит. Я уж грешным делом подумываю, не явился ли ей признак бабки и не поведал какую-нибудь страшную тайну, как датскому принцу. Ха-ха-ха! С моей внучкой и такое может случиться. Еще как может! Дрянь, истеричка, дура! — вдруг сорвался он под влиянием внезапного гнева (накатило!), после чего заставил себя слащаво и примирительно улыбнуться. — Это, конечно, шутка. Я уж так, по-стариковски — как выживший из ума Лир. Сам, знаете ли, страдаю из-за своей несдержанности, успокоительное пью. Но вы, дружочек, попытайтесь поделикатнее выяснить, в чем тут причина, а потом мне расскажете. Или даже напишите, положите мне в стол, а я прочту. Хорошо? Можно на вас рассчитывать? Вас не смущает моя просьба?

— Ну, что вы! Разумеется, нет, — ответил я.

Хотя просьба меня смущала, но его последний вопрос не позволял мне в этом признаться ни ему, ни самому себе.

7

Барахта отвел мне уголок в одной из комнат, с письменным столом напротив окна, не то чтобы старинным, но сороковых–пятидесятых годов (все ящики стола он запер на ключ). «Надеюсь, здесь вам будет удобно», — сказал он и как особый знак доверия вручил мне ключ от ящиков — на тот случай, если захочется их открыть.

Я стал приходить рано, зажигать лампу с зеленым малахитовым основанием и кремовым колпаком, схваченным понизу медным обручем, и, устроившись за столом (разумеется, ящики я не открывал — избави бог), разбирать бумаги. Кое-что приходилось перепечатывать на старенькой машинке, поскольку от времени странички не только пожелтели, но и местами, особенно на сгибах, истлевали и крошились.

Бумаги были уложены в папки с наклейками: «Анекдоты», «Застольные разговоры», «Кухонный треп». Я начал с последней папки: очень уж хотелось узнать, о чем же в те годы трепались на кухне. Оказалось, что треп был вполне лояльный и патриотичный, и лишь иногда писательская братия позволяла себе ругнуть какого-то Федю. Я долго не мог понять, что это за Федя и почему его ругают, и лишь потом меня осенило: да ведь Федя — это же власть, недаром упоминания о нем у Барахты обведены красным.

Во время моих занятий Барахта совершал моцион, а затем принимал душ и обливался из деревянной бадейки травяным настоем: он суеверно заботился о здоровье, недаром выглядел молодцом, гораздо моложе своих лет. У него был странный обычай: дома ходить босиком, до колен подвернув штанины, или, как он говорил, босяком: «Я босяк, ничего не нажил. А то малое, что все-таки припас, отойдет моей внучке Злате».

После прогулки он занимался в своем кабинете, но недолго: к двенадцати или к часу за ним присылали служебный автомобиль — то из университета, то из министерства, то из Охотного ряда и прочих значных (по его выражению) мест.

Проводив деда, Злата мелькала где-то вдаль и ко мне не приближалась — не проявляла никакого участия к моим кротовым раскопкам. Вернее, даже проявляла полнейшее безучастие. Только иногда спрашивала:

— Заварить вам чаю, господин аспирант?

Разумеется, я спешил ответить на этот знак внимания, раз уж этих знаков было так удручающе мало:

— Я бы не отказался. Если вам не трудно, будьте любезны...

Она приносила и ставила на стол чашку и чайник, накрытый, за неимением ватной куклы, сберегающей тепло, стеганой садовой рукавицей.

— У вас есть дача? — спросил я однажды, обнаружив на рукавице следы какой-то краски и засохшие крупинки удобрений.

— Заброшенная. Все заросло лопухами и такими трубчатыми растениями с зонтиками. Дед дачей не занимается. Он любит отдыхать в писательской Малеевке, — небрежно, досадливо и как-то по-особому удрученно ответила она.

— А ваша мама?

— Мама давно ушла от деда, хоть он ей и отец. Ушла от мужа, за которого вышла не по любви, ушла ото всех. Она тоже не любила дачу. Там когда-то арестовали бабушку — прислали за ней шикарный белоснежный автомобиль.

Злата вызывающе улыбнулась — как бы вопреки ожиданию, что на ее лице после этих слов появится выражение печали и грусти. Я пристально ее разглядывал, затем смутился этого взгляда и, как бы оправдываясь, спросил:

— Скажите, что бы вам хотелось больше всего на свете?

— Чтобы бабушка Сильвия была жива.

— А еще?

— Чтобы мама была рядом, — с той же улыбкой произнесла она, но затем сразу опечалилась и погрустнела.

8

Такие разговоры происходили меж нами все чаще, особенно в отсутствие Вадима Борисовича. Если не было дома ни его, ни горничной Любаши, убиравшей квартиру и докладывавшей ему о

телефонных звонках, полученных бандеролях и присланных счетах, мы могли болтать без умолку, не считаясь с тем, что это, конечно, катастрофически сказывалось на моей выработке. Уголька на-гора я почти не выдавал...

Присутствие же деда чем-то мешало Злате, тяготило ее, вызывало немой протест — и не только в тех случаях, когда он вдруг неслышно возникал за спиной и с саркастической улыбкой произносил: «О чем это вы шепчетесь? Нельзя ли и меня посвятить в ваши секреты?» Нет, даже и тогда, когда он запирался у себя в кабинете, Злата не позволяла мне говорить громко и писала на листочке бумаги: «Тише. Он может услышать», что меня всегда удивляло, поскольку толстые стены кабинета и плотно закрытая дверь, казалось, не пропускали никаких звуков.

А вот когда деда не было, Злату ничего не стесняло, и она пользовалась любым предлогом, чтобы вызвать меня на разговор. Предметы могли быть разные — от прочитанных книг до сушки грибов и побелки яблонь, но особенно Злату притягивало ко мне то, что со мной можно было поговорить о ее бабке и матери. Стоило мне спросить о них, она замирала, затихала, впадала в восторженность и, не успевая мне ответить, ждала от меня новых вопросов.

Я охотно отзывался на это. И постепенно Злата — из своего былого отдаления — стала ко мне приближаться. Она присаживалась рядом, на краешек стула, заглядывала в бумаги, давала мне советы, садилась за машинку и под мою диктовку перепечатывала одну-две странички. А затем и вовсе втянулась, погрузилась, вошла во вкус и даже увлеклась разборкой рукописей, что я не мог не приписать своему влиянию.

Видя нас вместе, Барахта удовлетворенно кивал и незаметно для внучки издали делал мне знаки, значение которых я, конечно, сразу угадывал. Барахта просил забыть о его недавней просьбе. «Не надо, не надо», — округляя губы, беззвучно произносил он и, опасаясь, что я не пойму, то же самое писал пальцем в воздухе. Пусть все идет как идет...

Он был доволен тем, что Злата, позабыв о недавней вражде, снова стала его верной помощницей, и лишь суеверно боялся что-то нарушить, помешать, спугнуть. И, наверное, у него появилась (забрехала) надежда: а вдруг у нас со Златой что-то возникнет, что-то завяжется — сначала дружба, а там, глядишь, и... И коло-

кольчики Папагено отзовутся на это волшебным и сладким свадебным звоном.

Вскоре он улетел в Варшаву на презентацию своей книги.

9

Я влюбился — не впервые и в то же время впервые. Вернее, как мне казалось, не впервые влюбился и впервые полюбил. А еще вернее, я во всем запутался...

Еще студентом я пережил несколько влюбленностей в моих однокурсниц, которые ничем не кончились, поскольку выбирал их всегда я. И свою влюбленность я ставил на первое место, особенно не интересуясь ответными чувствами избранниц и даже не спрашивая, любят ли они меня. Вернее, спрашивать-то я спрашивал, но лишь для того, чтобы услышать: «Да», — и этого было достаточно, чтобы больше не допытываться и не повторять этот вопрос. А уж что скрывалось за этим *да*, какие соображения, расчеты и уловки и насколько оно было искренним и насколько притворным — подобными головоломками я себя не утруждал.

Я был достаточно самоуверен, чтобы не сомневаться в том, что, конечно же, любят, — иначе и быть не может, и в этом-то как раз жестоко ошибался. И в итоге получалось так. В своей любви я оказывался не только несчастен, но и удручающе несвободен, опутан невидимой тонкой паутиной, связан по рукам и ногам.

Теперь же я чувствовал, что избран Златой, и ее выбор поощрял меня к тому, чтобы ему соответствовать. Иными словами, тоже любить, обмирать и восхищаться ею. Это не делало меня зависимым, а напротив, одаривало высшей свободой, поскольку преображало Злату, как ее преобразила когда-то полоска света, падавшего из окна, и такую — преображенную — ее нельзя было не полюбить.

Я, признаться, даже подумывал о женитьбе, о свадебных колокольцах, хотя отсутствие самоуверенности внушало, что ее выбор мог быть вызван не любовью, а чем-то другим (возможно, даже ненавистью), мне до конца не ясным и недоступным. Это тревожило и мучило меня, и я чувствовал необходимость объясниться, тем более что разбор бумаг мы заканчивали и скоро должен был вернуться из Варшавы Барахта.

И я решился. Не зная, как приступить к объяснению, я в приподнятом тоне заговорил о том, что скоро плоды наших совместных трудов обретут форму новой книги и это будет праздником не только для их семьи, но и для всей науки, даст повод для новых споров и дискуссий.

— Наверное, и ваша бабушка была бы рада, — сказал я, чтобы сделать ей приятное.

Но Злата нахмурилась. Затем взяла в руки несколько страничек из папки, разглядывая их на свет.

— Бабушка? — спросила она с недоумением, призванным скрыть досаду и раздражение. — Но ведь все это — написанные и отпечатанные под копирку вторые экземпляры.

— Экземпляры чего?

— Разве вы еще не поняли! Боже мой, его доносов на Лубянку.

— Как? Неужели? Вадим Борисович?..

— А вот так! Он подкладывал копирку и вторые экземпляры оставлял себе. На всякий случай — а вдруг понадобятся. И вот понадобились. И даже принесли ему такой успех...

Меня как громом поразило. Первое время я не мог ничего сообразить. Я лишь смотрел на ее сплетенные из тонких хвостиков косички и беспомощно улыбался, словно улыбка была моей единственной защитой от всего услышанного. Затем я подумал, что, наверное, ослышался, что Злата пошутила, что я понял все не так или вообще ничего не понял. И это было так сладко — ничего не понимать. Затем я стал торопливо прощаться, извиняться, что-то мямлить, ссылаться на срочные и неотложные дела.

— Подождите. Не будем же мы из-за этого!.. Стойте! Я все обдумала... — Злата попыталась остановить меня, стараясь быть препятствием ко всем моим действиям, загораживая дорогу к двери и не позволяя мне ее открыть.

Защищаться я не стал. Через месяц я женился на аптекарше.

ЕЩЕ О ДАМЕ С СОБАЧКОЙ

I

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой.

Собственно, так оно у меня и было, как у автора этой фразы, которую я лишь благочестиво переписал, а не присвоил себе. Таким образом я вовсе не совершил кражи. А кража была бы на миллион. Впрочем, какой там — на сотню миллионов, поскольку фраза — чистое золото, жемчуг, перл. Но нет, я не похититель.

Я невиновен, поскольку разве это вина, если и у меня *было* — с тою лишь разницей, что не в Ялте, а на одной из улиц нашего дачного поселка, куда можно добраться либо по Можайскому шоссе, либо пешком от одной из станций Белорусской ветки. Железнодорожный мост (тогда еще деревянный), пригорок и дальше — теремки, курятники, времянки, пристроекки, на языке тех времен именовавшиеся дачами.

Слава богу, названий улицам не присваивали (иначе были бы все сплошь пламенные революционеры), а называли их сначала, когда на этом месте еще вырубали лес, — просеками, а после того, как лес вырубил и извели под корень, — линиями. Вдоль линий врыли обмазанные понизу варом столбы с перевернутыми тарелками фонарей. Посыпали дорогу шлаком и битым кирпичом. По бокам врыли сточные канавы и укрепили деревцами, чтобы не размывало во время дождя. Только к одной даче проложили добротный асфальт: поговаривали, что там жила *дочь* (и не в курятнике, а в роскошном особняке за высоким забором), но ее никто в глаза не видел...

Мы жили на Четвертой линии, и наша дача числилась под номером 50.

В тот год — 1975-й, последний перед моим выпускным годом, на даче я отбывал каникулы. Говорю — отбывал, поскольку для меня это было повинностью, позволявшей не вводить в расходы родителей, которым иначе пришлось бы оплачивать мой отдых в Ницце или на юге Франции (моя саркастическая шутка). Это обо-

шло бы им в копеечку, чего я как любящий сын, конечно, допустить не мог. Поэтому я мирился с проклятой дачей, хотя из-за нее — какая там Ницца! — ни разу и в Ленинграде-то не был. А уж увидеть море даже и не мечтал (морем у нас считалось только Черное и уж никак не Балтийское или какое-нибудь иное). Сколько себя помнил, сиднем сидел на даче. Как говорится, безвылазно.

Но к этой повинности добавлялись и другие, — так сказать, сопутствующие.

Меня, разумеется, посылали за хлебом и молоком в пристанционный магазин. Магазин, увешанный липучками для мух, с пачками вермишели на полках и противотанковыми минами, замаскированным под «Бычки в томате». Кроме того, там продавали слипшиеся от жары конфеты — подушечки с повидлом. Ну, и еще кое-что: батарейки, школьные тетрадки и прочие свидетельства изобилия при развитом социализме. И, поскольку мне было лень тащиться туда пешком, да еще по жаре, я ездил на велосипеде.

Это давало определенные преимущества, особенно по дороге туда. Но обратно приходилось везти бидон, доверху наполненный молоком (молоком с фермы — парным, как у нас говорили), и при этом надо было умудриться не расплескать молоко. Чтобы облегчить эту задачу, я отпивал молока, тем самым понижая его уровень в бидоне. Но как быть дальше? На багажник бидон не поставить: никакой зажим его не удержит. Идти пешком и нести в одной руке бидон и кошелку с хлебом, а другой придерживать велосипед я считал для себя позором.

Поэтому я все же садился на велосипед, прислонив его к забору. Кошелку вешал на руль и потихоньку ехал, медленно и осторожно крутя педали. Одной рукой я ухитрялся управлять рулем, вихлявшим из стороны в сторону, а другой удерживал проклятый бидон. При этом кошелка с хлебом раскачивалась и била мне по коленям, и на каждой кочке или выбоине крышка бидона подпрыгивала, и за мной оставалась пунктирная дорожка из молочных капель.

На кухне удавалось сдать лишь половину купленного молока. «Неужели выпил?» — озабоченно спрашивала мать, приподнимая крышку и заглядывая в бидон. «Выпил», — отвечал я, предпочитая маленькую, не обременительную для самолюбия ложь, обидной и позорной правде.

Но были и еще повинности.

На каждый день отец давал мне урок — что-нибудь вскопать, прополоть, обрезать усы у клубники (впрочем, усы обрезали ближе к осени), собрать в ведро черной смородины. Отцу очень нравилось, что я, великовозрастный балагай, не тратил время зря и трудился. Труд же, по его мнению, заключался в том, чтобы нагибаться или приседать на корточки, что для него было уже трудновато, не по возрасту, и он тщеславно радовался, что вырастил себе достойную смену.

И я честно нагибался над грядками, выдергивая сорняки, и садился на корточки перед кустом смородины, срывая большие, спелые, влажные от росы ягоды, похожие на глаза Катюши Масловой (за это сравнение я еще оправдаюсь). Однако, если каждую вторую клубничину я отправлял в рот, то смородиной гнушался, поскольку ее считали уж очень полезной и богатой витаминами, я же эти витамины терпеть не мог, предпочитая все вредное, укорачивающее жизнь, но зато хотя бы немного вкусное.

Почему я об этом рассказываю? Да потому что все это было давно и отца уже нет, и мать я похоронил, да и сам изрядно постарел (вредного ничего не ем — только *витамины*), утрясся, осел, стал ниже ростом, раздался в поясице и сейчас сам многое бы отдал за те уроки...

Оставшееся от повинностей время я был предоставлен самому себе, много — запоем — читал, (вот откуда глаза Катюши Масловой), пробовал писать, но из этого ничего не получалось. Поэтому гораздо больше, чем о славе, я мечтал о любви.

II

И вот по соседству, на 49-й даче, действительно появилось новое лицо. Но, сразу спешу заверить, не дама. Какие уж там дамы в садово-огородную эпоху! Нет, девушка с неправильными, несколько утрированными (слегка утолщенный нос, слишком крупные губы), но красивыми чертами смуглого, узкого лица, большой родинкой на виске, совсем уж восточной, и таким же восточным — *шамаханским* — разрезом глаз.

Она приехала с матерью, всячески ее опекавшей.

Впрочем, мать девушки показалась мне сначала старшей сестрой, слишком они были похожи, почти на одно лицо — близнецы, да и одевались одинаково (одна носила, а другая донашивала). Подобное же сходство, замечу, сглаживает разницу в возрасте.

Они впервые снимали у нас дачу, никто их не знал и до этого даже не видел. Приехали они совсем не так, как обычно приезжают дачники: не с утра, а поздним вечером (под покровом темноты), да еще и в непогоду. Ветер раскачивал перевернутые тарелки фонарей, и в канавах клокотала мутная, вспенившаяся жижа.

Слепящие автомобильные фары черкнули по нашим окнам, пока машина разворачивалась и задом выруливала к калитке, и уперлись в глухой забор противоположного дома. В их желтоватом, маслянистом свете роились косые дождевые иголки.

Новые дачницы пробежали по кирпичной дорожке, накрывшись дождевиком, словно две подружки. Водитель такси (это было именно легковое такси с шашечками на дверцах) донес их чемоданы. Затем вернулся, прихватил еще пишущую машинку и связку книг, аккуратно обернутую целлофаном, чтобы не промокли. Кроме того, он затащил на террасу огромный радиоприемник и поставил на стол. Они же, расплатившись с ним, сами — вдвоем — унесли его в дом.

Унесли так бережно, церемонно, с такими предосторожностями, словно это был драгоценный научный прибор или портативная электростанция, обеспечивающая существование полярников на дрейфующей льдине.

Словом, возникло дымчатое облачко некоей таинственности, и мне, шестнадцатилетнему, начитавшемуся Чехова (а у Антона Павловича есть вещи, интригующие своим таинственным антуражем), влюбленного в него до безумия, сразу захотелось написать об этом рассказ. Что-то мне мерещилось, грезилось, зыбко маячило, как в тумане. Фигуры персонажей для меня еще не совсем определились, но фабула возникла захватывающая.

Таинственная незнакомка. Длинная строгая юбка в талии схвачена широким поясом, как у курсисток начала века (смак!). Белая блузка с перламутровыми пуговками и перекинута на грудь коса (шикарно!). Живет замкнуто, одиноко, затворницей. За участок (дачный двор называли у нас не иначе, как участком) никогда не выходит. Гостей к себе не приглашает и в гостях не бывает. Ни с кем не встречается или, может быть, встречается тайно.

О, эти тайные встречи где-нибудь под крутым обрывом, как у Гончарова! Что может быть заманчивее для рассказа. «О том, что мы с вами встретились, никто не должен знать». После одной такой фразы, произнесенной кем-либо из персонажей, читатель — мой. Во всяком случае, так мне казалось по моей неискушенности и девственной наивности.

Правда, должна быть мотивировка. Почему они, собственно, встретились? Что их заставило? Поэтому я должен решить, кто же она, моя главная героиня. Революционерка? Ах, если бы! Но нет, не те времена: революция у нас давно и безнадежно победила (ее последняя метастаза — Манежная площадь, к горькому сожалению москвичей переименованная в Пятидесятилетия Октября).

Если уж очень захочется сделать главную героиню революционеркой, тогда ее надо выдать замуж за какого-нибудь ближневосточного дервиша, борца с тиранией, а таких почти и не осталось. След простыл, как говорится. Да и нелепо было бы выдавать ее замуж, если я сам собирался в нее влюбиться.

Но кто же она в таком случае? Хиппи? Кришнаитка? Не похожа. Тогда наверняка диссидентка, ловит по преемнику *голоса*, перепечатывает и распространяет опального Солженицына.

Этот вариант меня устраивал, благо я толком не знал, кто такие диссиденты (они рисовались мне такими же загадочными, как марсиане) и не задавался вопросом, а какой же отчаянный смельчак напечатает мой рассказ? Почему-то я был уверен, что редактор первого же журнала, прочитав его, растрогается, прослезится, будет долго и навязчиво жать мне руку, называть меня новым Чеховым. И, конечно же, сразу отправит рассказ в набор...

С этой уверенностью я сидел за двухтумбовый письменный стол, некогда привезенный из Москвы на дачу среди прочей ненужной мебели, с чернильным пятном по краю суконного вреза и выдвижными ящиками. Нижние ящики были двойные, глубокие, как колодцы. В правом хранились банки с вареньем и солеными грибами. А в левом — всякий хлам (какие-то провода, мотки изоляции, перегоревшие лампочки), который не выбрасывали лишь потому, что далеко было нести до свалки, устроенной на опушке леса, рядом с коровой лежанкой.

И вот я ставил перед собой старую, двадцатых годов черную «Эрику», доставшуюся мне в наследство от бабушки-машинист-

ки. Вращая тугой валик, я заправлял переложенные копиркой (чтобы сразу получилось четыре экземпляра) листы писчей бумаги и пробивал римскую цифру I. Мне хотелось, чтобы над главами были именно римские цифры, как у Чехова. Арабских я не признавал. В них чудилось нечто ученическое, школьное, отдающее классной доской, мелом и тряпкой, и при этом — неистребимо советское.

Я же хотя и не был диссидентом, советскую — павлокорчагинскую — литературу не признавал, как лохматый щенок на привязи, с басистым лаем (в данном случае щенок литературный), не признает чужих. Среди ее героев мне виделись сплошные буденовцы и комиссары, а вот чтобы в Ялте, на набережной, появилось новое лицо — нет, никогда, и не мечтайте.

Поэтому я считал, что с классикой ее не сравнить, и старался писать под девятнадцатый век. Соответственно действие моих рассказов — за неимением дворянских гнезд, родовых усадеб с колоннами, балконами, анфиладами комнат и белеющими сквозь заросли парка мраморными статуями — происходило на даче. Конечно, не бог весть какая замена, но все-таки...

И вот ставил я машинку, пробивал римскую цифру, но дальше этого дело не шло. Все застопоривалось. Фразы получались — какой там Чехов! — одна хуже другой. Язык — суконный, как врез письменного стола. И рассказ, в воображении казавшийся прекрасным, пронизанным струящимся светом, исполненным дивной, чарующей музыки, на бумаге выглядел заспиртованным уродцем.

III

И тогда я выдергивал заправленные в машинку листы. Я рвал их вместе с копиркой, комкал и выбрасывал в плетеную корзину. Это означало, что я бездарность и что с литературой навеки покончено. Я в унынии отодвигал машинку к самому краю письменного стола, жалея о том, что нельзя ее засунуть под кровать (там хранился огромный чемодан с пакетами сахарного песка для варенья) или взгромоздить на шкаф, где все было завалено рулонами старых обоев. А сам подпирал кулаком щеку и смотрел в окно,

наслаждаясь явной бессмысленностью этого занятия. Наслаждаясь себе назло и в уме подсчитывая, сколько же я выдержу, и тем упрямее смотрел, чем больше мне это надоедало и становилось противно до тошноты.

Хотя в глубине души я знал, что мое занятие не такое уж бессмысленное и смотрю я не куда-нибудь в пустоту, а на соседний участок. Там, среди кустов орешника и высоких разросшихся папоротников, покрытых сверкающими каплями росы, бесцельно бродила (вышагивала с ленивой кошачьей грацией, высоко поднимая ноги и стараясь ступать, где посуше), моя незнакомка.

Впрочем, бесцельность была для нее такой же маскировкой, как и для меня бессмысленность, и она довольно ловко выискивала для себя всякие цели. К примеру, собирала в дуршлаг клубнику (хозяйева отвели им с матерью на откуп грядку). Качалась в гамаке, прибитом к двум замшелым березам и отбрасывавшем на траву ромбовую тень. Или сидела перед верандой за круглым столиком с неубранной после завтрака посудой, чьими-то круглыми очками и газетой. Сидела и якобы безучастно (а на самом деле с уклончивым и непредвзятым вниманием) смотрела, как по крышке сахарницы ползает мохнатый шмель.

Правда, она появлялась (представала перед моим взором) не в длинной юбке с поясом, а в обычном, широкого покроя платье, напоминавшем сарафан, стеганой, расшитой безрукавке, которую набрасывала вечером или при утренней прохладе, и резиновых сапожках. Но коса и впрямь была перекинута на грудь. И вытянутое, продолговатое, как бы странно вогнутое лицо с чуть приоткрытыми (виднелись детские лопаточки зубов) крупными губами и выпуклым лбом казалось непреодолимо влекущим.

Для лучшего обзора всех ее передвижений, я отодвинул шкаф и шире открыл окно, забросив за оконные створки концы занавесок, чтобы они не мешали смотреть. Письменный стол тоже пришлось отодвинуть, чтобы сидеть вплотную к подоконнику. Куст орешника перед окном я обмотал проволокой, чтобы он не топорщился и не заслонял вида, а в нижнем ящике стола разыскал старый театральный бинокль, тоже наследство моей тетушки, завзятой театралки.

Так я оборудовал наблюдательный пункт, чтобы от меня не ускользнула ни малейшая подробность в образе жизни моей незнакомки.

На своем наблюдательном пункте я ловил взглядом каждый ее промельк там, в орешнике. Я прижимал к глазам бинокль, словно тем самым умножая его увеличительную способность. Я боялся лишний раз моргнуть. Я любовался ею, как замороженный. И мое уныние сменялось восторгом, и я чувствовал, что влюбляюсь. Влюбляюсь! О боже! Впервые в жизни.

Из ее окон тоже доносился стук машинки, но печатала не она, а мать, как я вскоре установил, что, впрочем, было нетрудно и открылось само собой. Однажды, подойдя к забору, разделявшему наши участки, незнакомка попросила у меня немного копирки: «У вас ведь тоже печатают. Это для мамы». Разумеется, я тотчас же бросился за копиркой, надеясь на продолжение разговора, но мои надежды оказались тщетными. Продолжения не последовало. Незнакомка поблагодарила меня, и, к моему великому разочарованию (а какой был шанс познакомиться!), свидание закончилось. Оставалось лишь утешать себя тем, что я впервые увидел незнакомку так близко и даже (дивное, непередаваемое чувство), передавая свернутую в рулон копирку, прикоснулся к ее руке. К тому же я немного узнал о том, что происходило не на участке, а там, внутри их дома.

Мать носила на босу ногу стоптанные туфли и мела дорожки подолом длинной юбки, явно принадлежавшей когда-то дочери. Вообще не заботилась о том, как она одета, и могла напялить все, что угодно (даже чью-то фетровую шляпу пятидесятых годов), лишь бы не мерзнуть и не мокнуть под дождем. При этом она не упускала случая дать понять, что была не просто так, а *имела отношение*. Неважно, к чему — радио, телевидению, издательским интригам, но имела, и это становилось содержанием всей жизни. С ворохом перепечатанных страниц она усаживалась за круглый стол перед верандой, что-то резала длинными конторскими ножницами, клеила и карандашом проставляла страницы.

Часто, обращаясь к дочери, она просила: «Ирина, принеси мне воспоминания Марии Ильиничны». Нетрудно было догадаться, что Мария Ильинична — сестра вождя. Кроме того, она учила английский язык — явно с самых азов, с нуля, не уставая повторять, что пресловутый Лондон — столица столь же пресловутой Великобритании.

Не стыдилась и не скрывала того, что она некрасивая (странно, но те же черты, что и в облике дочери, делали ее до резкости некрасивой). Не красилась, не пудрилась, не заботилась о прическе, не выдергивала седых волос. Любила с вызовом повторять: «Моя красота — в интеллекте». Если дочь шутливо упрекала ее за это, беспечно отмахивалась: «После, после. Когда свершится...» Что должно было свершиться — оставалось только гадать. Постоянно пила кофе: я мог судить об этом по тому, как часто она выплескивала из турки оставшуюся на дне кофейную жижу. Много курила, особенно за работой, причем жадно докуривала собственные бычки. Перед сном обвязывала полотенцем голову (голова явно раскалывалась) и принимала снотворное, хотя сама же называла его убийственным.

Иногда к ним приезжал некто Генрих, называемый также Гарри, — моложавый с лица, но седоватый, узкоплечий, согбенный, как старичок. Он прихрамывал и опирался о палку, покрытую лаком, с причудливой резьбой. Подолгу сидел за чаем, крошил ложечкой бисквит и держал себя так, словно ни к чему не имел отношения и единственным содержанием его жизни был он сам.

Генрих привозил с собой *канареек в клетке* — долговязых девиц, которые постоянно болтали, щебетали и чирикали, а он, утомленный назойливым шумом, томно прикладывал ладонь ко лбу, восклицая при этом: «Я вас умоляю! Я умоляю!»

Чувствовалось, что Генриха и незнакомку связывает нечто для меня загадочное, тайное. Он держался с ней одновременно и почтительно (впрочем, почтительность была несколько преувеличенной, картинной, актерски-театральной), и насмешливо. Подавал ей руку, когда она спускалась с крыльца, называл мамочкой и при этом позволял себе такие фразы: «Жаль, что мне не удалось склонить вас к пороку». Словом, паясничал и смотрел с затаенным обожанием, и она не возмущалась, не протестовала, словно он имел на это право.

В целом семейство казалось случайным, безалаберным и богемным. Недаром моя мать, застав меня однажды на моем наблюдательном пункте за пристальным, самозабвенным, зачарованным разглядыванием незнакомки, сказала: «Лучше почитал бы Островского. Наверняка она бесприданница».

IV

Итак, незнакомку звали Ириной, а от хозяйки 49-й дачи (я ей доvez на велосипеде кошелку, доверху набитую буханками хлеба для поросенка) мне стало известно, что по фамилии они Поповы, из Москвы, прописаны по Садовой-Черногрязской, обе незамужние, мать, наверное, в разводе. При этом хозяйка неодобрительно добавила: «Все вечера напролет что-то слушают. За стенкой: бубу-бу. Спать мешают. Больше им ни за что не сдам. Хоть золотые горы мне посулят — откажу. Да и какие у них золотые горы — беднота, интеллигенция, копейки считают».

Тем не менее Ирину вскоре стали осаждать поклонники с соседних линий, особенно с Пятой, считавшейся у нас карантинным отстойником, куда мы опасались соваться, поскольку там обитали *чумные и бешеные*, как мы их прозвали. Любое соприкосновение с ними грозило разбитым до крови (расквашенным) носом, фонарем под глазом и прочими признаками неизлечимой заразы, которую они распространяли и насаждали силой своих кулаков.

Такими они были всегда, сколько я их помнил, однако тем летом с ними произошло нечто загадочное и необъяснимое. Они охладели к дракам, утратили весь свой воинственный пыл, притихли и присмирели. Зато в них пробудилась стыдливая тяга к тому, чтобы прилично одеваться — не по-дачному, а по-городскому. Поэтому линялые, выцветшие майки и сатиновые шаровары они сменили на белые рубашки и брюки с ремнем, в котором прокалывали шилом дополнительные дырочки, чтобы можно было потуже затянуться.

В этом они усматривали высший шик — затянуться *в рюмочку*, так, что перехватывало дыхание.

Гладить брюки они не доверяли никому, а утюжили сами на кухонных столах, сдвинув к самому краю гору посуды, подвернув клеенку и тем самым превратив кухонный стол в гладильный. Во время священного ритуала глажки каждую брючину они покрывали вафельным полотенцем, на которое прыскали набранной в рот водой, и распыленная влага шипела под накаленным докрасна утюгом.

Нужно было лишь следить, чтобы не запахло паленым и раскаленный утюг не прожег насквозь полотенце и брюки, что частенько случалось.

Словом, Пятая линия стала усиленно заботиться о своем внешнем виде. Ее обитатели ездили в Одинцово, где была единственная у нас парикмахерская, и стриглись там по самой последней моде, а затем постоянно доставали расческу, смачивали ее колодезной водой и самозабвенно причесывались, хотя волосы и так лежали гладко и дополнительного ухода не требовали.

И все это ради того (вот она разгадка!), чтобы обратить на себя внимание сверстниц или даже девиц постарше, что, впрочем, было рискованно, поскольку те могли высмеять и унижить. Или, как у нас говорилось, отщелкать. Добившись же успеха, можно было приглашать их в кино и даже на танцы (танцы устраивались реже, чем показывали кино, — раз в месяц по воскресеньям), а потом *проводить* до калитки.

О, это было (с непривычки) самое страшное — *проводить*!

При этом полагалось держать *ее* за руку. Обнимать за плечо решались только самые дерзкие, да и то пугавшиеся собственной смелости. При необходимости провожающие набрасывали *ей* на плечи свой пиджак (как в кино). На это, конечно, нужно отважиться, но главное испытание заключалось в другом: *с ними* надо было еще и *разговаривать*, что для бывших чумных и бешеных казалось особенно трудным, мучительным, почти невыполнимым.

Но они героически не позволяли себе молчать и словно бы заново учились человеческой речи. Заикались, мычали, заполняя паузы несли всякую чушь, но — все-таки разговаривали. Это реченивалось как неоспоримый признак их взросления.

И, конечно же, столь уважающая себя взрослая публика не могли обойти вниманием незнакомку с Четвертой линии. Как уже сказано, ее стали назойливо осаждать.

Поначалу я удивлялся: как это могло произойти при том, что она, затворница, не выходила с участка? Но затем я догадался, что выходить-то не выходила, но они углядели ее с балконов. Может быть, даже в бинокль. Бинокли же у них водились, и не жалкие театральные, как у меня, а морские, поскольку ту часть нашего дачного поселка, куда входила Пятая линия, застраивали моряки, служившие в различных ведомствах и получавшие участки как награду и поощрение.

И за отсутствием морских просторов их сыновья обозревали в бинокли дальние линии нашего поселка.

Вот кто-то из них и высмотрел затворницу с Четвертой линии, рассказал об этом приятелям, и они двинулись брать ее приступом — на абордаж. Возглавлял эту гоп-компанию Максим Самарец, который славился тем, что больше ста раз смотрел фильм «Тарзан». Он поклялся, что похитит затворницу, увезет и женится на ней.

Поначалу они, не решаясь войти на участок, ее из-за забора *высвистывали*. Но гордая затворница не отзывалась, поскольку это было пошло и вульгарно, как она однажды сказала матери. Тогда они стали кого-нибудь *подсылать* к этой гордячке и зазнайке. Отлавливали пятилетнего Борю или Никиту, наставляли и напутствовали: «Скажи ей. Пусть она выйдет». Не выходила. Тогда они являлись с цветами, воровски сорванными на соседней даче (однажды так обворовали и нас), и приглашали на прогулку. Гордячка и зазнайка их выпроваживала, но однажды от скуки согласилась прогуляться с Самарцом.

Однако тот провалился и опозорился. Его пиджак она высокомерно сбросила с плеч, руку брезгливо отдернула, высмеяла прожженные утюгом брюки, после чего вынесла ему и всем приговор. Нарочито громко, чтобы услышали за калиткой, произнесла: «Тоже мне! Строят из себя взрослых, а сами — отпетая малышня и шантрапа».

Это была звонкая пощечина. Это была отставка всему морскому флоту. Разумеется, из похищения и последующей женитьбы ничего не вышло — зря только наобещал.

V

Сей убийственный отзыв услышал и я и, хотя он не относился непосредственно ко мне, почувствовал себя пристыженным, осмеянным и посрамленным. Если уж те с Пятой линии, казавшиеся мне такими недосыгаемо взрослыми, бывальными и опытными, для нее малышня, то что уж говорить обо мне!

Разумеется, я и думать не смел, чтобы познакомиться с Ириной, и заранее смирился с тем, что мне суждено лишь издали на нее пялиться и о ней вздыхать. О большем я и не мечтал. Вернее, мечтал, чтобы она хотя бы еще раз (разок, разочек) попросила у

меня копирку. Но тут вмешалась моя мать. Вступилась за меня: поддалась неосознанному порыву. Именно неосознанному, поскольку вряд ли она догадывалась о том, что со мной происходит. Но — таково уж свойство ее натуры — она всегда сочувствовала мне и старалась помочь именно в том, о чем не догадывалась и ни к каким догадкам не стремилась. «Не желаю знать, что там у тебя свербит, — говорила она в таких случаях. — Это меня совершенно не касается». Но при этом по — некоему причудливому совпадению — умудрялась устроить все так, чтобы не свербело.

Вот и сейчас она ничего не желала знать о моей влюбленности в Ирину Попову, но неосознанно все как-то устраивала к моей выгоде, мне помогала.

Судя по словам матери, ее тревожило, что через год у меня выпускные экзамены и надо будет поступать в университет, а я вместо подготовки неизвестно чем занимаюсь — мараю бумагу и пишу *трактаты* (она насмешливо называла трактатами мои рассказы). К тому же я прячу их от посторонних глаз и никому не показываю, даже ей, родной матери. Поэтому, говорила она, следовало внести во все это некую ясность — раскрыть по лекалу, то бишь отрезвить меня и образумить, хотя бы ради этого пришлось устроить мне взбучку и головомойку.

Поэтому мать начала с того, что в столь важном для меня деле, как писание (хотя важным-то было совсем другое) признала за мной некое право ей не доверять.

— Ладно, мать у тебя ничего не понимает, но давай покажем знающему человеку — специалисту.

Мать во всем ценила мнение специалистов, поскольку сама была специалистом в швейном деле, начальницей раскройного цеха.

Мне пришлось пойти на ответную уступку и, не отвечая прямым отказом (а наоборот, притворно изображая согласие), сослаться на обстоятельства, не позволяющие осуществить ее благое намерение:

— Да где же мы здесь найдем специалиста? В нашей-то глуши. Это же не Переделкино и не Малеевка.

Мать успокоила меня улыбкой, показывающей, что ее козыри сильнее моих козырей.

— Я тут случайно познакомилась с соседкой по даче... — Она с выжидательным вниманием на меня взглянула, позволяя на

минуту неверно ее понять, чтобы затем обезоружить единственно верным и неоспоримым пониманием. — Не с той, на которую ты, прости меня, пялишься, а ее матерью. В отличие от тебя, бедняжки, с твоей глупой и несчастной матерью, у нее замечательная мать. Она пишет книгу о семье вождя. Вот! Значит, она настоящий специалист.

Я был раздавлен, уничтожен и лишь смог в ответ пробормотать:

— Но у меня нет ничего законченного. Так... одни наброски... вряд ли по ним можно судить.

Мать отрезала меня от этой последней спасительной лазейки:

— Не беспокойся. Раз уж Марина Ивановна, — мать понизила голос и выдержала внушительную паузу, чтобы я хорошо запомнил это судьбоносное имя, — пишет о вожде, она специалист высокого уровня. Отбери что-нибудь из твоих набросков, и я ей покажу.

Пришлось подчиниться (со страхом и восторгом), и мать в тот же вечер отнесла мои художества специалисту.

На следующий день я был вызван на соседнюю дачу, и мне учинили разнос. Марина Ивановна, сама худая, растрепанная, заспанная, в стоптанных туфлях на босу ногу, сидела за письменным столом, таким огромным и величественным, что казалось, будто он сам, без посторонней помощи мог написать книгу. Страдальчески на меня глядя, словно я был неизлечимо болен, она мне безучастно выговаривала:

— Это никуда не годится. Милый мой, так не пишут. Вот я у вас подчеркнула: «Она была одета в безрукавку с заплатами на рукавах». Золотце мое, но какие же рукава у безрукавки? Или вот вы пишете: «На ужин приготовили кутью». Дорогой мой, кутью готовят на поминки. Вам надо учиться, больше читать, расширять свой кругозор. Правда, там у вас есть одна сцена... — она слегка замялась, вынужденная сделать мне некую уступку, — одна сцена, которая мне даже понравилась.

Я почувствовал себя польщенным и слегка обнадеженным.

— Какая? — едва выговорил я.

Губы у меня пересохли.

— Ну, в одном рассказе... — произнесла она капризно и пренебрежительно. — Знаете, подарите мне ее.

— Подарить? А разве так можно?

Марина Ивановна пожала плечами, словно удивляясь невоспитанности того, кто мог задать подобный вопрос.

— Или продайте. — Она закурила — скорее не от желания курить, а оттого, что ей стало со мной скучно.

— Но разве?..

— Я пошутила, — сказала она, пристраивая недокуренную сигарету на краю пепельницы, но затем раздраженно затушила ее. — Забирайте, юноша, свои наброски и успокойте вашу маму. Никаких проблесков таланта в них не наблюдается. Можете добросовестно и целеустремленно готовиться к экзаменам. «Дама с собачкой» уже написана...

И она спросонья протянула мне... пепельницу, но тотчас спохватилась и, исправляя свою оплошность, заменила ее как предназначенный для возврата предмет на мою красную папку с записками.

VI

— Что, молодой человек, потерпели фиаско? — Генрих обозначил желание привстать (в знак приветствия) из-за круглого стола, но его изрядно разморило, и он ограничился лишь тем, что жестом пригласил меня сесть рядом с ним на свободный плетеный стул. — Располагайтесь. Портвейн? Или сухое вино из здешнего магазина? Что вы предпочитаете?

Я не успел отказаться, как из открытого окна в мезонине второго этажа донесся голос Ирины:

— Не спаивай ребенка.

— Ребенок получил удар по самолюбию. Ему необходимо забыться.

— Мне кажется, это ты забываешься.

Окно захлопнулось, что придало сказанному дополнительную резкость. Генрих был вынужден развести руками, принося извинения за то, что он столь явно ограничен в проявлении гостеприимства.

— Никакой свободы. Придется подчиниться деспотизму и своеволию, — произнес он громко, чтобы его слышали наверху, а сам, подмигнув мне, наполнил два бокала вином. Наполнил, заслоняя их

рукой и опуская ниже уровня крышки стола. Мы тихонько — как заговорщики — чокнулись. — Ну, за *нашу* победу, как в том фильме. Любите фильмы про разведчиков? А я обожаю, обожаю. Это апофеоз!

Окно в мезонине вновь приоткрылось.

— Прекрати чернить нашу действительность. Мама же просила!

— Умолкаю. Даю обещание, что больше не повторится. Да никто и не слышал, кроме молодого человека, а ему явно не до того. — Он понизил голос, чтобы его последующие слова относились только ко мне. — Наша мадам вас раздраковала. Извините, мы вчера за чаем обсуждали. Кажется, у вас там ужинают кутьей и пришивают заплатки к рукавам безрукавки? Мило, очень мило... настоящий сюр. Вы, сами того не ведая, выразили весь абсурд нашей жизни. Да, мы носим безрукавки с заплатками на рукавах, и у нас каждый ужин — поминки. Вы это намеренно? Впрочем, неважно. Я вас поздравляю. Мадам в этом ничего не петрит. Старается угодить. Пишет о Семье. Приводит драгоценные крупницы новых фактов о пребывании в эмиграции, хотя тоже себе на уме.

Я не знал, что ему ответить, и у меня было одно-единственное желание — поскорее уйти и больше сюда не возвращаться.

Кажется, он уловил мое намерение.

— Ну, напрасно, напрасно... Не стоит огорчаться из-за того, что вас не поняли. Напротив, гордитесь. Сразу всем понятна только посредственность.

— А вы сами пишете? — спросил я, словно надеясь отыскать в нем собрата по несчастью.

Он рассмеялся, довольный этим вопросом. Вернее, возможностью на него ответить.

— Слава богу, нет. Даже если бы я чувствовал в себе талант, и то не стал бы сейчас писать. Это бессмысленно. В наше время надо заниматься чем-то совсем другим. Надо ускользать, убежать, растворяться. Мести двор или топить котельную. Только так можно что-то в себе сохранить — быть свободным от любых определений. Никто не знает, какой вы, плохой или хороший, поскольку определения навязываются вам окружающей средой, а следовательно идеологией.

— Альфред, вы говорите очень сложно, — капризно произнесла одна из канареек, отлучавшаяся в сарайчик по нужде вместе с подругой.

— Вот видите, она даже не запомнила толком мое имя. Это уже успех. Тем самым я избежал хотя бы одного определения. Прости, моя милая. Дай я тебя поцелую. Все-таки я Генрих, а не Альфред.

На этот раз ему удалось привстать из-за стола и чмокнуть в малиновую щеку канарейку.

В это время, распахнув окно, Ирина позвала меня к себе:

— Поднимайтесь сюда. Только осторожно. На лестнице не хватает двух ступенек. Вы его отпускаете? — обратилась она к честной компании.

— Конечно! Разумеется! О чем разговор! — возвестили они дружным хором, тем более что не имели ни малейшего желания меня задерживать.

Я поднялся в мезонин по старой скрипящей, расшатанной лестнице. Когда я ставил ногу на ступеньку, она так проваливалась, что наполовину выступали проржавевшие гвозди.

Ирина встретила меня на пороге суровой отповедью:

— Вы меня так откровенно разглядываете из своего окна. Я много раз замечала и ужасно на вас сердилась. Это есть нехорошо. Стыдитесь.

— Стыжусь. — Что я мог еще ответить.

Моя искренность, мой удрученный вид и нелепая красная папка с завязанными на бантик тесемками заставили ее смягчиться.

— Что, неудача? Вас раскритиковали? В общем-то, справедливо, судя по тому, что я слышала, хотя вы, конечно, с этим не согласны. — Она пристально на меня смотрела, заранее встречая улыбкой любое проявление несогласия.

— Ваша мама специалист. Ей виднее, — сказал я, набираясь храбрости, чтобы ответить ей встречным взглядом.

— Специалист? Вот это новость! В чем же, позвольте спросить? В чем она специалист?

— Ну, как же! Ваша мама пишет *такую* книгу!

Она с откровенным любопытством разглядывала меня, пытаюсь понять, искренен ли я, чист и наивен или безнадежно испорчен, порочен и лжив.

— Вы это серьезно? Или умело притворяетесь? — В моем облике она уловила нечто, убеждающее в том, что я не притворщик. — Ладно, открою вам страшную тайну. Только давайте сядем, а то я немного недомогаю, и мне тяжело стоять. — Она усадила меня

в кресло и сама села рядом на табурет, позволявший прямо держать спину. — Но, пожалуйста, это между нами, обещаете? Так вот о книге, внушающей вам такое уважение. Моя дорогая мамочка пишет, чтобы ее *выпустили* и она могла бы *остаться*. — Она выделила голосом слова, смысл которых должен быть либо понятен сразу, без всяких объяснений, либо непонятен вовсе.

Глуповатое удивление на моем лице убедило ее, что я не из понятливых. К тому же я спросил:

— Как вы сказали?

Ирина изобразила недоумение.

— А разве я что-нибудь сказала?

— Но вы же сказали, что ваша мама...

— Нет, я ничего не говорила.

До меня наконец дошло, что со мной сыграли злую шутку. Я так огорчился, что Ирине стало меня жалко, и она произнесла с мягким упреком:

— Вам неизвестно значение таких слов! Если у нас *выпускают*, то за границу. Там же и *остаются* в подобных случаях.

— Ах, вот оно что... Простите, буду знать. Только зачем там оставаться?

— Конечно, лучше сидеть у себя на даче и разглядывать в театральный бинокль девушек с соседнего участка. Вам еще многого не понять, мой милый...

— Да, наверное. Ну, а книга-то удалась?

— Если честно, то это нечто жалкое, судя по тому, что она нам читала за ужином. К тому же у нее там наполовину плагиат. Надергано отовсюду. Но она так рвется. Я ее не осуждаю. У нее была несчастная жизнь. Но что здесь делать мне — одной и с ребенком?

— У вас есть ребенок? — спроси я, еще до конца не осознавая, о чем я спрашиваю.

Ирина внимательно на меня посмотрела, стараясь точно соизмерить свой ответ с моим вопросом.

— Будет. И очень скоро. Мы и дачу-то сняли для того, чтобы скрыть мою беременность. Быть подальше от посторонних глаз, от всех этих разговоров. А вы свои посторонние глаза так навязчиво на меня...

— Пялите, — подсказал я нужное слово, рассмешившее ее и заставившее сказать:

— Впрочем, я на вас уже не сержусь. Я приглашаю вас отныне у меня бывать, и возможно чаще. Вы даже можете думать, что у нас роман. Я вам позволяю, потому что вы очень похожи на одного человека, — сказала она, как бы по секрету сообщая то, что больше говорило ей самой, чем мне.

VII

Да, такой смешной казус, такая нелепость, такая, знаете ли, *залипуха*, как называлась у нас зеленая, нестерпимо кислая (если надкусить) клубничная ягода. Впрочем, даже не ягода, а завязь, бугорок, шишечка внутри цветка, которую с ягодой и сравнить-то нельзя, а надо лишь приметить, запомнить, чтобы потом, когда вызреет (а ведь могла и не вызреть, остаться зеленой по неведомым нам причинам), сорвать.

Но почему-то эти залипухи вызывали у нашей Четвертой линии гораздо больший восторг, чем красные, отяжелевшие, налившиеся соком ягоды. «У вас есть залипухи?» — «Сколько у вас залипух?» — наперебой спрашивали мы друг друга, и названное число — сколько — служило символом везения, счастья и преуспевания.

Вот мой первый роман и был такой залипухой: она беременна, и к тому же я ей кого-то *напоминаю*, и поэтому мне лишь позволено *думать*.

И я думал, воображал, сочинял, словно бы выращивая в душном парнике диковинное, небывалое тропическое растение — пальму с обложенным войлоком стволом и раскидистыми листьями, — и этого было достаточно, чтобы сделать меня счастливым. Да и все в ту пору было таким же сочиненным, парниковым, оранжерейным: что ни возьми — одни невызревшие залипухи...

Каждый день я у нее бывал.

Ирина меня с радостью и веселой приветливостью принимала, но всегда замечала по старым хозяйским ходикам, висевшим на стене, до которого часа мне разрешено пробыть. Подобная пунктуальность меня обижала, я роптал, возмущался, обещал сломать эти ненавистные ходики, но Ирина была неумолима:

— Только, пожалуйста, не ломай. Это не наше. К тому же ты должен меня понять. У меня много занятий, и я не могу попусту

тратить время. Ну, не попусту, — поправлялась она, из жалости делая мне уступку, — а... с неполной отдачей. Ведь я... Я помогаю одному человеку писать книгу.

— Какому человеку?

— Ты не должен спрашивать, пока я сама тебе не скажу.

— А когда ты скажешь?

— Когда ты созреешь, как твоя залипуха. — Она смеялась, воспользовавшись поводом вернуть мне слово, которое я по неосторожности обронил в ее присутствии.

После этого Ирина словно бы забывала о времени, и я уже готов был подумать, что она лишь в шутку назначала мне сроки. Но, когда срок истекал, она сразу возвещала об этом хлопком в ладоши, как будто про себя считала каждую минуту, и произносила:

— Больше нельзя. Возвращайся домой, а то еще влюбишься, и мне за тебя отвечать.

«Да я и так влюбился!» — хотелось мне воскликнуть, но Ирина прижимала палец к губам, не допуская никаких возражений и неоправданных признаний.

Пока позволяло время, мы тоже находили, чем себя занять. Мы подолгу сидели у нее в мезонине. Вообще-то, мезонин принадлежал хозяйской части дома и не сдавался дачникам: лишь на этот раз его уступили за дополнительную плату, поскольку Ирина очень уж просила, ссылаясь на то, что внизу вечно стучит машинка и бубнит радио. В мезонине и мебель была вся хозяйская, приобретенная не для дачников (тем сошла бы и попроще), а для самих себя: дубовый резной буфет, комод и сундук, приводивший Ирину в восторг. В особенных случаях, когда хотелось чего-то торжественного, она со значением говорила: «А теперь давай посидим на сундуке. Только молча». И мы молча сидели.

Кроме того, в мезонине пахло травами, сушившимися на протянутой под потолком веревке, и Ирина мне терпеливо объясняла: «Это зверобой, это мята...» Чтобы лишний раз не спускаться вниз, мы пили остывший чай, Ирина читала, а меня заставляла при ней заниматься и добросовестно готовиться к экзаменам (для этого я даже приносил с собой учебники).

Затем мы спускались вниз и гуляли по участку, раздвигая высокие папоротники и срывая с веток недозрелые орехи. Мы качались в гамаке, отбрасывавшем ромбовую тень, выходили за

участок, и Ирина говорила, что с таким провожатым, как я, она ничего не боится. Я даже приглашал ее в кино, и вся Пятая линия смотрела на меня с завистью.

Только Самарец, свистнув в два пальца, однажды крикнул мне вслед: «Эй, будущий папа! Пеленки и распашонки уже купил?» Ирину это рассердило, и с той поры она наотрез отказалась ходить в кино.

Зато в мезонине, когда мы поправляли на веревке пучки сохнувших трав, она меня поцеловала торопливым, летучим, словно эфирное облачко, поцелуем. Я обмер, оторопел и в то же время обиделся и разозлился, словно получил плевок или оплеуху:

— Зачем?! Зачем эти нежности?! Вот тоже! Мне этого вовсе не надо!

— Я тебя целую, потому что ты очень похож, — внушительно произнесла она.

И вот тут я, сам не ведая почему, выкрикнул ей в лицо:

— Целуйте лучше вашего Генриха. Он-то, наверное, еще больше похож. Ха-ха!

Осенила ли меня внезапная догадка, или я просто взял это с потолка? Не знаю, но Ирина вдруг покраснела и как-то страдальчески нахмурилась, словно я, сам того не ожидая, попал в точку.

— Вот как? С чего это ты решил?

— А с того, что решил, — вот и все.

— Грубиян. Тебя следует наказать.

— Наказывайте. Наказывайте чем побольнее — ремнем или крапивой. Нарвать вам крапивы?

— Ага, ты ищешь со мной ссоры. Может быть, ты ревнуешь? Или хочешь, чтобы я тебе все рассказала? Честно во всем призналась, как это мне довелось заиметь ребенка без мужа? И покаялась, как последняя грешница, чей поцелуй противен до отвращения? Что ж, изволь, если для тебя это так важно. Я жду ребенка от отца Генриха.

— От кого? — обидчиво замямлил я.

— От отца Генриха. Еще повторить?

— Не надо.

— Почему же? Я могу. От отца Генриха — Петра Кирилловича. Его специально называли, как Пьера Безухова. Ты, кроме «Дамы с собачкой», что-нибудь, надеюсь, читал?

— Читал. А кто этот Петр Кириллович?

— Э, братец. Это долгий разговор. Давай присядем. Лучше всего на сундук, поскольку момент у нас с тобой особый. — Мы сели, стараясь не касаться друг дружку, каждый ближе к своему краю. — Ну, слушай. Он почти втрое меня старше, ему под шестьдесят, весь седой, но я его люблю. Его все бросили, никуда не берут, и Генрих с ним не живет. Он прошел лагеря, испытал такие муки, видел столько ужасов, но об этом особый сказ. Главное, что в лагере он встретился с одним необыкновенным, удивительным человеком, который передал ему свои уникальные идеи. Вернее, эти идеи отчасти родились в их общих разговорах, спорах, мечтах и фантазиях. Он пишет замечательную книгу, которую здесь никогда не напечатают. А переправить ее на Запад он считает для себя неприемлемым. При всей беспощадной критике нашей системы, он патриот. К тому же он верует. Поэтому и не дает интервью голосам. И с нашими диссидентами разошелся — как и со всеми, кого Достоевский называл светлыми личностями. Поэтому у него один выход: эту книгу хранить. Сначала самому, потом передать мне, чтобы я передала нашему сыну. Сын передаст внуку, а внук — правнуку, и так до бесконечности, пока что-нибудь не произойдет с нашим союзом нерушимым. Может быть, праправнуку удастся напечатать.

Мы еще долго говорили об этом.

VIII

Как это теперь ни смешно, но тогда нам казалось, что союз нерушимый будет вечным, что это незыблемая твердыня, сверхдержава, владычица полумира, но вышло все не так. И до того легко, знаете ли, вышло, что и оглянуться-то не успели. Легко, словно без всяких усилий — только плечом немного поднаперли. Глядь, а нерушимого-то и нет. Накренился, осел и развалился, как подтаявший сахар в стакане с чаем.

И вот незадача: Кремль, слава богу, цел, и Василий Блаженный тоже, и Красная площадь с Мининым и Пожарским цела. И Чехов на месте, Достоевский на месте, Толстой на месте: хотя и их изрядно потеснили, в задние ряды задвинули, но все же не сковырнули. А с нерушимым-то получилось хуже всего. Ничего

от него не осталось — даже прежних границ. И все шло к тому, что утрясут, утрамбуют и ужмут его до московской и ленинградской области, ну, и еще двух-трех клочков земли.

Вот я и не перестаю удивляться, почему-то у нас все не так выходит. Что ни возьми, чего ни коснись — вот оно, казалось бы, так. Ан нет: именно что показалось (поблазнилось, померещилось). На самом же деле и то не так, и это не так — такая нелепая залипуха...

Впрочем, расскажу по порядку. Так сказать, в исторической последовательности, хотя умные люди еще во времена Пушкина говорили, что истории у нас отродясь не бывало...

Тогда же летом 1975 года я побывал у Петра Кирилловича. Ирина попросила передать ему конверт с выписками, схемами, таблицами, диаграммами, нужными для завершения книги. Она добросовестно трудилась над ними все лето. Замечу, что и я приложил к этому руку, и по ее просьбе несколько раз ездил в библиотеку, и тоже выписывал до тех пор, пока перед глазами от усталости не начинали вращаться круги, вспыхивать бенгальские огни и молнии. При этом во мне, конечно, все восставало, противилось, поднималась волна возмущения: ради кого я стараюсь — я, несчастный? Ради моего счастливого соперника? Хотелось вскочить с обезьяньими ужимками и гримасами, все скомкать и выбросить. Я ведь ревновал, ревновал ужасно. И единственное, что меня примирало с моей участью — просьба Ирины.

Но лишь только я увидел Петра Кирилловича, ревность сразу исчезла, поскольку я сам готов был его полюбить, как своего настоящего *друга*. Объяснюсь.

Помню, в детстве я, как замороженный, слушал одну передачу по радио, и все домашние удивлялись, что меня так привлекло. Я не мог дождаться *четырнадцати тридцати* (в это время она начиналась), и меня невозможно было оттащить от приемника. «Передача как передача. Чем она его так поразила!» — недоумевали взрослые. А меня привлекала не передача, а обращение ведущего: «Здравствуй, дружок!» Другие передачи начинались словами, оставлявшими меня равнодушным: «Дорогие дети!», «Наши юные слушатели!» И лишь благодаря этой передаче я обретал своего дорогого и единственного друга. Ведущий так проникновенно, душевно и трогательно произносил это слово (казалось

бы, относящееся только ко мне одному, одному-единственному), что мне хотелось расплакаться от счастья, упасть перед ним на колени, отдать ему все мои игрушки, лишь бы навек оставаться его дружкой и самому иметь такого дружка.

Дружка, которого я, правда, только слышал и никогда в жизни не видел. Вернее, не видел до той поры, пока Петр Кириллович не открыл мне дверь...

— Ах, это ты! Мне Ирина звонила! Подожди, я причешусь. — Он несколько минут простоял с расческой у зеркала. — Ну, проходи, проходи, дружок.

Господи, он назвал меня дружкой — впервые после долгого времени (я уж и забыл про ту передачу), и голос был *тот же*, волосы взлохмачены вопреки причесыванию и приглаживанию, на носу круглые очки с толстыми стеклами, поясница повязана шерстяным платком, и в лице в каждой черточке, каждой морщинке — необыкновенная доброта...

Жил он на Масловке, в коммунальной квартире с длинным темным (горела лишь одна тусклая, пыльная лампочка) коридором. На стене коридора висели велосипед и цинковая ванна. Одна комната у Петра Кирилловича была заперта и никогда не открывалась — комната Генриха. В другой комнате возле письменного стола, чудом державшегося на скошенных ножках (скошенных под углом сорок пять градусов), спал старый, почти слепой сенбернар, положив голову на лапы. Напротив стола на стене висела фотография родителей Петра Кирилловича, последних толстовцев (так он их назвал), чью коммуны разогнали в начале двадцатых годов. Разогнали под выстрелы шального пугача, под баян пьяненького дедка в одноухой ушанке, под свист и улюлюканье местной шпаны.

На столе были разложены французские книги: хозяин зарабатывал переводами.

Он усадил меня в кресло с такими слабыми пружинами, что я в нем утонул и еле выбрался (не без помощи хозяина).

— Ну как, принес? Давай сюда. Ирина мне поведала, что ты тоже постарался. Благодарствую, милый. Я твой должник. Ты мне очень помог.

Я отдал ему конверт и спросил, о чем его книга. Он шутливо схватился за голову, услышав мой вопрос.

— Никогда не спрашивай у автора, о чем его книга. Он этого не знает и ничего тебе не ответит. Вернее, знает о своей книге совсем не то, о чем ты спрашиваешь, а нечто совсем иное, для тебя загадочное. Во всяком случае, вполне возможно, что оно покажется тебе даже невразумительным, невнятным, внушающим подозрение, что книга не удалась, хотя она может быть и гениальной. Разумеется, это я не о своей книге, а так... вообще... Ну, давай пить чай, поскольку ничего более крепкого таким благовоспитанным юношам, как ты предлагать нельзя.

Он налил мне чаю в жестяную кружку.

— А вы?

— А я с твоего позволения рюмочку, хотя Лев Николаевич не одобрял, да и родители мои решительно отвергали. — Он принес из буфета пузатый графин и граненую рюмку. — Так о чем же книга? Все-таки попробую тебе растолковать...

Я просидел у него до позднего вечера.

IX

В конце осени Марину Ивановну, мать Ирины, все-таки выпустили. Она уж отчаялась и надежду потеряла, хотя с анкетой у нее было все в порядке и рекомендации — самые лучшие. Но капстрана есть капстрана, поэтому и так долго это все тянулось. И сколько было разных проволочек, выяснений, запросов, подтверждений. И на собеседованиях без конца мурыжили, чуть ли не до нижнего белья раздевали, оправдывая это тем, что *были весьма прискорбные случаи...*

Имелось в виду, что... некоторые, воспользовавшись доверием... ну, вы понимаете. При этом ей приторно (притворно) улыбались, пристально смотрели в глаза, стараясь прочесть — выудить — самые потаенные, крамольные мысли...

Марина Ивановна, конечно же, с искренностью заверяла, что гневно осуждает этих некоторых, и, главное, сама себе верила в эту минуту. Там тоже не простачки сидят, и, если бы только возникло подозрение, что она себе не очень-то верит, то ее сразу бы зарубили. Ну, не чапаевской шашкой, конечно, а отклонили бы ее кандидатуру.

К счастью, не зарубили и не отклонили. Наконец она получила долгожданный заграничный паспорт и билет на самолет. Даже выдали кое-что в валюте (Ирина потом долго разглядывала эти бумажки, якобы невинно, из одной любви к классическим ариям напевая, что люди гибнут за металл). При этом Марине Ивановне прозрачно намекнули, что окончательное решение было принято главным образом по одной, но весьма существенной причине: ее дочь ждет ребенка и таким образом сама она скоро станет бабушкой. Именно будущую бабушку-то и выпустили. Бабушку, которой, конечно же, захочется вскоре вернуться и обнять внука...

Мы провожали ее в аэропорту. Она плакала, пересчитывала в кошельке валюту, бросалась целовать дочь, просила ее простить, не осуждать. Ирина с безучастным вздохом произнесла, вторя каждому ее слову и обесценивая его смысл: «Обещаю, мамочка, простить и не осуждать».

Объявили посадку, Марина Ивановна подхватила ручную кладь, и на этом трогательная сцена прощания закончилась.

Зимой у Ирины родился ребенок, но не мальчик, а девочка, капризная и плаксивая, маленький уродец, но из таких потом вырастают красавицы. Тогда же стало известно, что Марина Ивановна осталась в Цюрихе — попросила убежища...

Здесь, конечно, был скандал. Нас вызывали, но затем как-то замялось, забылось.

А через шестнадцать лет союз нерушимый распался, и книгу Петра Кирилловича напечатали — ему не пришлось ждать появления внуков и правнуков. Особого успеха она не имела, прошла почти незамеченной: не до книг тогда было...

Марина Ивановна счастливой не стала — ни в Цюрихе, ни в Париже, куда она потом переехала. Помыкалась, прокляла все на свете и вернулась. Впустили ее лишь потому, что здесь у нее дочь, одна воспитывающая ребенка. Привезла в подарок внучке дорогого породистого щенка, грызшего ножки стола и оставлявшего лужи на паркете. И, конечно, всевозможных нарядов. Снова сняли дачу, и у нас на Четвертой линии появилось новое лицо — разодетая, как франтиха, красивая и заносчивая девочка с собачкой.

Впрочем, ей уже шестнадцать лет, и она держится как настоящая дама.